

# Оглавление

Предисловие .....	9
Анатомичка .....	10
Аппендицит .....	14
Баран .....	20
Боль .....	24
Больница .....	28
Врачебная ошибка .....	33
Вскрытие .....	38
Выгорание .....	43
Дежурная ночь .....	49
Дренажи .....	53
Дусёк .....	57
Женские палаты .....	60
Жены больных .....	64
Живот .....	68
Жизнь хирурга .....	72
Зарплата .....	77
Игла .....	81
Инструменты .....	85
Истории болезни .....	89

Каменная хирургия.....	93
Каталка.....	99
Кровотечение.....	103
Литотрипсия.....	107
Лихорадка.....	112
Лягушка.....	115
Медсестры.....	119
Мужские палаты.....	123
Наставники.....	127
Ноги.....	134
Операционный блок.....	138
Операция.....	143
Осложнения.....	147
Переливание крови.....	150
Пищеблок.....	155
Планерка.....	159
После дежурства.....	163
Приемный покой.....	168
Разрез.....	172
Реанимация.....	175
Рентген.....	180
Руки.....	184
Сандалии.....	188
Санитарки.....	192
Скальпель.....	195

Сны хирурга.....	<b>198</b>
Спина .....	<b>202</b>
Спирт.....	<b>207</b>
Суета.....	<b>210</b>
Тело.....	<b>214</b>
Узел .....	<b>218</b>
Утро больницы.....	<b>222</b>
Халат.....	<b>226</b>
Черная лестница.....	<b>229</b>
Шов .....	<b>233</b>
Шприц .....	<b>236</b>
Экзамены.....	<b>240</b>
Эндоскопия .....	<b>245</b>
Эпикриз.....	<b>249</b>
Юность в больнице .....	<b>253</b>
Я.....	<b>256</b>



# ПРЕДИСЛОВИЕ

Что остается от жизни людей и от целого мира? В конце концов, только слова — замыкая тот замысел, каким открывается Евангелие от Иоанна. А где им, словам, живет лучше всего? Думаю, что в словаре. Это их улей, их родовое гнездо, откуда они разлетаются в мир, словно пчелы за взятком.

Может, поэтому я так люблю словари. И читателю, и писателю они предлагают так много свободы и воздуха, что дышать в их пространстве мне легче всего. С одной стороны — объективная строгость, почти инвентарная опись того, что содержится в мире; с другой же — свобода джазового музыканта, который импровизирует в рамках заданного ритмического квадрата. А свобода — она и возможна лишь в строгих границах, откуда не выпадешь ни в пустоту празднословия, ни во тьму немоты.

Итак, вот очередной\* мой словарь. И даже если читатель пробежит глазами одни лишь названия глав — а именно так порой и просматривают словари, — мне и этого будет достаточно: я буду знать, что еще один гость побывал в моем мире, моем словаре, моей жизни, «Моей хирургии»...

\* Другие произведения-словари автора: Убогий А. Ю. Пыры // Наш современник. 2017. №2–3; Убогий А. Словарь исчезнувших вещей. — Калуга: СерНа, 2018. — *Прим. ред.*

# АНАТОМИЧКА



Для всех докторов начало их пути в медицине связано с анатомичкой. Когда я впервые вошел в ее двери, мне еще не было и семнадцати. Это случилось в Смоленске — там, на окраине студенческого городка, высилось трехэтажное здание, чьи окна как-то особенно едко и воспаленно светились то в утренних сумерках, то в вечерней густеющей мгле. Почему-то именно сумерки — и одиночество — окружали меня в те начальные годы, когда я только знакомился с медициной.

Вот и учиться туда вечерами я чаще ходил в одиночку, не желая ни с кем делить чувств, что возникают при встрече с особенным миром анатомички. Не сказать чтобы нам, первокурсникам, было очень уж страшно видеть трупы, распотрошенные руками преподавателей и студентов; но все же любой, кто оказывался в этих стенах, не мог не волноваться. Уже сам формалиновый запах, царивший в анатомичке, как

бы предупреждал: здесь особенный, со своими законами, мир. А уж когда мы спускались в подвал, где нам выдавали «препараты» — останки разъятых на органы тел, то едкие формалиновые испарения, случалось, выжимали из наших глаз и настоящие слезы. Не оттого ли всегда так болезненно и возбужденно блестели глаза у посетителей анатомички?

Когда мы, с «препаратом» на жирном подносе и с толстым учебником, поднимались по лестнице на один из трех этажей, нас встречали суровые лица отцов-основателей медицинской науки. Везалий, да Винчи, Авиценна, Гарвей смотрели на нас недовольно и хмуро: им словно не нравилось наше вторжение в их неподвижный, проформалиненный мир. А помимо портретов великих анатомов нас встречало еще одно живописное произведение: репродукция картины Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа». На ней был изображен доктор в шляпе и средневековом камзоле, который, указывая на разрезанное предплечье бледного трупа, разъяснял ученикам хитросплетения сухожилий.

Вот чем-то подобным вслед доктору Тульпу и его ученикам занимались в анатомичке и мы. Только нашим проводником в дебрях мертвого тела был не доктор в камзоле, а учебник под редакцией Привеса: громадный том *in folio*, в котором латыни содержалось намного больше, чем могли вместить наши бедные головы. Так мы и ныряли из одной бездны в другую: то погружаясь в средневековые, вечные дебри латыни — то теребя сухожилия трупа, лежавшего перед нами на грубом бетонном столе. Правда, иногда вместо трупа (мертвых тел всем живым не хватало) перед тобой мог лежать «препарат». Серые полушария мозга, напоминавшие большой грецкий орех, или гряда кишок

на брыжейке, или почка, разрезанная пополам, — какой-нибудь, словом, из органов, навсегда разлучившийся с телом, где он некогда жил.

И долго — порою часами — длилось твое одинокое странствие по полостям и пространствам нетленного тела, жирно блестевшего в лучах лампы и пропахшего формалином. Это были, возможно, самые удивительные путешествия из всех, что я совершал когда-либо. Тот ссохшийся труп, что лежал пред тобой, запрокинув лоснящийся кожистый череп и бессмысленно глядя запавшими глазницами в гладь потолка, — он вдруг начинал представляться огромным и вытеснявшим из мира все прочее, кроме себя самого. В нем все было настолько загадочно, сложно — эти все сухожилия, фасции, нервы, сосуды, — что, казалось, и жизни не хватит на то, чтоб узнать и запомнить это множество разнообразных частей, из которых составлено тело.

А для тебя, новичка-первокурсника, эти части были еще так похожи, что ты поначалу не мог отличить артерий от вен, сухожилий от нервов, — поэтому непостижимая сложность того, что лежало перед тобой на столе, возрастала стократ, и ты уж почти был готов с позором бежать из анатомички.

Но что-то удерживало тебя, и ты не убегал. Ты упорно, пинцетом или прямо пальцами, перебирал пучки размочаленных мышц и лоскуты бурой кожи и напряженно бубнил про себя, стараясь запомнить все эти *dexter, sinister, vestibulum* или *hiatus*. Ты словно брел, спотыкаясь и падая, но поднимаясь и снова нетвердо шагая, — куда-то все глубже в те тайные дебри, какими является тело любого из нас. И ты будто что-то искал внутри этого тела. Но только сейчас,



спустя сорок лет, я догадался, что же именно я разыскивал внутри проформалиненных тел, распластанных на бетонных столах. Я искал там ни много ни мало — саму смерть. Ведь где, как не здесь, в царстве мертвых, и было возможно увидеть, потрогать, почувствовать ее, смерти, тайну — где, как не здесь, можно было взглянуть ей в лицо?

А всего поразительней то, что, чем более я погружался внутрь мертвого тела, чем усерднее — как заклинание — бормотал колдовскую латынь, тем все более чувствовал: смерти здесь нет. Ее нет ни вот в этой ссохшейся мумии, ни в огромном учебнике Привеса, который, служа проводником в мире мертвых, все ж неизбежно выводит обратно к живым, — ее нет ни в чем из того, что меня окружает в анатомичке. Даже портреты великих анатомов, что прежде казались суровы, — они начинали как будто с усмешкой смотреть на тебя. «Послушай, приятель, — словно говорили они, — похоже, ты ищешь пустое. Мы вот тоже когда-то искали, искали — но, как и ты, не нашли...»

Да, смерти здесь не было: это открытие оказалось важнейшим итогом посещений анатомички. А была только жизнь — и она была всюду. И в студенческом шепоте, шарканье ног, юном сдержанном смехе (в торце коридора, возле окна, обнимались студент со студенткой), и в шелесте этих мудреных страниц, захватанных множеством пальцев, и в ночных беспокойных огнях за окном, в гулах города, в завывании ветра, в ударах дождя по стеклу, в шуме крови в твоей голове, одуревшей от долгой зубрежки, — во всем была жизнь, только жизнь, ничего, кроме жизни.

# АППЕНДИЦИТ



.....

**К**ак же мне было не полюбить хирургию, если с одной из первых операций, самостоятельно сделанных мной, связана целая романтическая история?

Летом после пятого курса я работал медбратом в хирургическом отделении клиники на Покровке. Двухэтажное здание имело солидный — хотя и изрядно обшарпанный — облик старинной губернской больницы: с гулкими коридорами и сводчатыми потолками, с большими окнами и парадной лестницей, ведущей из приемного отделения на второй этаж, в хирургию. По этой лестнице мы, студенты, нередко таскали носилки с больными — лифта в старом здании не было, — и этой же лестнице суждено было сыграть роль в истории, которую я хочу рассказать.

Была теплая летняя ночь — мохнатые бабочки залетали в открытые окна, — и к нам в отделение поступила красивая двадцатилетняя девушка с аппендицитом. Ее звали Ирина,

и ей, кареглазой, очень шло это имя. Но я в ту ночь был так озабочен работой медбрата, еще непривычной, и желанием оказаться на операции, что смотрел на Ирину лишь как на объект хирургического интереса. И с гораздо большим волнением, чем к этой девушке (уже переодетой в синий больничный халат), я подходил к дежурному доктору, добродушному толстяку — с просьбой, столь обыкновенной для парня-медика, мечтающего о хирургии.

— Николай Филиппович, — смущаясь от собственной дерзости, попросил я его. — А можно я сам эту девушку прооперирую?

Филиппыч, в ту пору уже пожилой и, конечно же, не любивший ночных операций, зевнул, потянулся и сказал басом:

— Ладно, валяй! Если что — позовешь...

Про таких, каким был я в те минуты, говорят «окрыленный». Не стану подробно описывать, как я переодевался и мылся и как, подняв мокрые и чуть дрожащие от волнения руки, входил в гулкий кафельный зал старинной операционной. Моя обнаженная пациентка уже лежала на узком столе под сияющей лампой и дышала больше грудью, чем животом: верный признак острой брюшной патологии. И хоть мысли мои были заняты предстоящей работой, я не мог не отметить, как хорошо она сложена; и я, помню, спешил обработать рыжим раствором йода ее вздрагивающий живот и поскорее накрыть девушку стерильными простынями — чтобы не отвлекаться ни на юную грудь, ни на побритый лобок, ни на бедра, прижатые к столу ремнем.

Ассистировал мне Николай, мой приятель и однокурсник, дежуривший этой ночью в соседнем отделении

гемодиализа. Кроме нас с ним да операционной сестры (ее, кстати, тоже звали Ириной, и ее восточные глаза всю операцию с интересом и легкой насмешкой наблюдали за мной) — ну и, разумеется, нашей испуганной пациентки, в операционной больше не было никого. Сейчас в это трудно поверить, но тогда аппендиксы нередко удаляли под местной анестезией: таковы были традиции русской хирургической школы.

Наша больная, кстати, за всю операцию даже не пикнула: то ли она была так терпелива, то ли у меня действительно получилась классическая инфильтрационная анестезия. А червеобразный отросток, багровый и напряженный, словно выпрыгнул к нам из раны, вместе с петлей подвздошной кишки: он будто ждал, когда я рассеку над ним блестящую пленку брюшины.

Но, когда я отсекал флегмонозный отросток, он лопнул — и немного гноя вылилось в рану. Обеспокоенные, мы позвали Филиппыча. Он заглянул через мое плечо, посопел, хмыкнул и пробасил:

— А, ерунда... Помой, посуши — все должно обойтись.

Конечно, я сделал, как он и сказал, — хотя на душе у меня скребли кошки. «А если, — думал я, — у этой девушки разовьется разлитой перитонит? Хорошее же у меня будет хирургическое начало...»

Понятно, что я завершал операцию как можно более тщательно, но сделанного было не воротить; хотя теперь-то я понимаю, что ничего страшного и в самом деле не произошло. Но тогда вместо радости от самостоятельно сделанной операции я испытывал только тревогу за эту кареглазую девушку — и, чего уж скрывать, за себя самого. Утром,

сменившись с дежурства, я чуть ли не за руку притащил к постели Ирины нашего преподавателя, ассистента хирургической кафедры. Тот посмотрел язык больной, пощупал ей пульс, помял живот — и пожал плечами:

— Не понимаю, чего ты волнуешься? Я здесь никакого перитонита не вижу.

Но успокоиться я не мог еще долго. Ирина пролежала в клинике ровно неделю; и первые два-три дня я множество раз не только сам приходил к своей пациентке, но время от времени притаскивал к ней кого-нибудь из отделенческих или кафедральных врачей. Все, разумеется, лишь пожимали плечами и даже посмеивались надо мной.

Сама же Ирина, которой день ото дня становилось все лучше, расценила мои посещения совершенно по-женски. Еще, видимо, и соседки по шестиместной палате подзуживали ее — смотри-ка, дескать, Ириш: а парень-то на тебя явно запал! — и девушка ожидала моих ежедневных визитов как свиданий. Когда я вновь и вновь присаживался к ней на кровать (согласитесь: это довольно интимное действие) и откидывал одеяло, Ирина, блестя карими вишнями глаз, сама обнажала свой юный живот, отдавая себя в мое полное распоряжение. Но меня тогда занимала лишь грубая проза — вроде отхождения газов или защитного напряжения мышц, — и я куда более пристально глядел на повязку в правой подвздошной области, чем в потемневшие, взволнованные глаза Ирины. В общем, я видел в девушке лишь пациентку — в чем, кстати, свято следовал Гиппократовой клятве, запрещавшей врачу относиться к больным женщинам как-то иначе.

Затем Ирину благополучно выписали, и у меня с души упал камень. Закрутилась прежняя студенческая жизнь, с учебой, дежурствами и операциями — и я уже почти позабыл Ирину и ее злополучный аппендикс.

Но через несколько дней — я как раз снова дежурил — моя напарница-медсестра сказала:

— Андрей, выйди на лестницу — там тебя спрашивают.

Сбежав по скользким ступеням, я повернул на центральный марш лестницы — и чуть не упал: внизу, в холле, стояла красавица в красном платье. Я, признаться, не сразу ее и узнал — тем более что лицо девушки наполовину скрывал букет алых роз. Спустившись к Ирине — это была, конечно, она, — я смущенно пробормотал: «Ну, как ты себя чувствуешь?» Красавица, впрочем, была смущена не менее моего. Передав мне огромный букет — помню влажные листья и то, как кололись шипы, — Ирина, запнувшись, проговорила:

— Доктор, а вы по сердечным болезням не специалист?

Какое ж еще признание, спросите вы, мне было нужно? Но я вдруг настолько отчетливо вспомнил недавние переживания и тревоги, связанные с Ириной, что это вытеснило во мне естественный мужской интерес к юной красавице. Можно сказать, что в тот миг в моей душе доктор-хирург оказался сильнее мужчины. Не помню точно, что я ответил Ирине, — но это было нечто такое, отчего девушка грустно вздохнула и зашагала прочь... А я-то, дурак, еще подумал: «Вот он, значит, каков, хирургический путь! Он усыпан цветами — и женщинами; и уж если сейчас, в самом начале, ко мне приходят такие красавицы, то что же

начнется потом?» До чего же наивны бываем мы в юности! Мы полагаем, что все хорошее, чем одаряет нас жизнь, еще повторится множество раз: мы не ценим того, что у нас уже есть, — и стремимся куда-то в обманную даль, которая все удаляется, тает и меркнет по мере нашего к ней приближения. А потом, уже в старости, когда впереди почти ничего не осталось, обращаем свой взгляд назад, в прошлое, — вспоминая, среди прочих даров минувшего, кареглазую девушку с сияющим взглядом и то, как ты осторожно пальпировал ее упругий, вздрагивающий живот...

# БАРАН



Еще вспоминается ясное майское утро — и то, как я, студент-пятикурсник, везу на каталке в морг тяжелое мертвое тело. Мы оба в белом: я в халате, а покойный — под простыней, из-под которой желтеет ступня с клеенчатой красной биркой. Отвезти тело в морг — последнее, что осталось мне сделать после ночного дежурства; а поскольку морг в клинике на Покровке располагался аж за инфекционным корпусом, каталка долго стучала колесами по асфальту, а затем хрустела по гравию. Управлять ею было непросто: пожалев пожилую сестру-напарницу, я взялся все сделать один — и каталка то заезжала в лужи, то шла юзом и ударялась колесами о бордюры. Я уж боялся, что мертвый, не ровен час, с нее соскользнет.

Но худо-бедно мы двигались. А утро было таким ярким и свежим, каким оно может быть только в мае, да еще когда тебе самому двадцать лет. Влажная зелень сверкала в лучах



еще низкого солнца, на небесную синь было больно смотреть, а неугомонные соловьи высвистывали в ближайшем овраге свои сочно-упругие трели. Конечно, я думал о том, что обидно и глупо быть мертвым в такое прекрасное утро. И как все молодые, я был уверен, что уж со мной-то подобной глупости не случится: я, если когда-нибудь и умру (что еще, разумеется, было под очень большим вопросом), то уж, по крайней-то мере, в такую собачью погоду, с которой не жалко расстаться.

Я нажимал на резиновые рукоятки носилок, каталка скрипела, ее колеса визжали, покойник, стуча головой, ерзал взад и вперед: картина была, скорей, грустная. Но я был, сказать откровенно, счастлив. И молодость, и чудесное утро, и воспоминания честно отработанной ночи — мне удалось помыться\* на прободную язву и на кишечную непроходимость, — и, главное, чувство, что мне открывается необозримый мир хирургии, единственный мир, достойный мужчины, — все это, взятое вместе, наполняло меня такой радостью и благодарностью к жизни, что в этих ликующих чувствах растворялось даже сознание того, что я везу на каталке смерть. Она, смерть, словно таяла в остром чувстве радости существования — как и мертвое тело под простыней вдруг почти растворялось в лучах ослепительно бьющего солнца.

На газоне перед инфекционным корпусом пожилой пациент в полосатой пижаме делал зарядку. Он медленно приседал, вытягивая руки вперед, а потом неуклюже вставал.

\* Помыться (жарг.) — непосредственно участвовать в операции. —  
Прим. авт.

Я подумал: «Да неужели я тоже когда-нибудь стану таким неловким и старым, с круглым животиком под полосатой пижамой? Нет, до такого позора я точно не доживу...»

Пациента в пижаме тот груз, что я вез, напугал: мужчина замер и полным ужаса взглядом провожал каталку. Мне захотелось крикнуть ему что-нибудь ободряющее, но ничего, кроме слов: «Все там будем!» — не приходило в голову, и я промолчал.

На зеленой лужайке у морга щипал травку привязанный на веревке баран. Он был стар, худ и давно не стрижен: серая шерсть свалялась клоками. Пару раз я его видел и раньше, но все забывал спросить: что этот баран здесь делает? Ни на шерсть, ни на мясо он явно не годился. Нас баран тоже заметил, перестал щипать траву и вытаращился тупо и оцепенело: вот именно как на новые ворота.

А когда я с каталкой приблизился, баран судорожно дернулся — и упал набок. «Что за чертовщина? — подумал я. — Он что, тоже мертвых боится?»

Но мне было не до того, чтобы возиться с упавшим бараном и оказывать ему медицинскую помощь: тем более что я не знал, как это делается. Мне надо было открыть обитую цинком дверь — амбарный замок взвизгнул, словно живой, — а потом закатить носилки с покойным внутрь и поставить их возле стола с желобками в холодном и пахнущем смертью сумраке морга.

Когда я, уже налегке, вышел наружу, баран, как ни в чем не бывало, пасся на ярко-зеленой траве среди желтых цветов одуванчиков. Я обошел его стороной, чтобы не испугать; но на этот раз он меня не заметил и не стал падать в обморок.

Вернувшись в свою хирургию, я спросил пожилую и все на свете знающую медсестру:

— Петровна, а что это там за баран пасется, возле инфекции?

— Какой баран? — переспросила она. — А, баран! Так его держат для эритроцитов.

— В смысле?

— Ну, делают же анализы с бараньими эритроцитами? Тебе лучше знать, ты почти доктор.

— Так он поэтому и людей в белых халатах боится? Думает, снова идут ему кровь пускать?

— Ну да, — засмеялась Петровна. — Как подойдешь к нему, так он сразу бряк в обморок! За ним и пастух числится, на полставки. У него, говорят, в трудовой книжке так и записано: «Пастух барана».

— Что-то я там пастуха не заметил...

— Так он, небось, снова в запое. Чего ж и не пить — при такой-то работе?

И Петровна, вздохнув, принялась крупным почерком переписывать назначения из историй болезни в процедурный лист: у нее работа явно была посложнее, чем у пастуха барана. А я, отправляясь на лекцию по хирургии, уж конечно, и думать не думал, что всю жизнь буду время от времени вспоминать то далекое майское утро — и барана, упавшего в обморок на зеленой лужайке.

# Боль



Хочу сказать боли несколько слов благодарности. Известно, что ее, боли, задача — предупреждать нас об опасности или неполадках внутри нашего тела. Она вестовой и сторож одновременно; не будь ее, наш срок на земле был бы много короче.

А я признателен боли, которую мне довелось пережить, еще и за то просветление, что наступало, когда боль наконец утихала и я ощущал себя словно родившимся заново. Ведь цель нашей жизни и состоит в просветлении; как же не быть благодарным тому, что нас приближает к нему — пусть и таким жестким способом?

И вот сейчас я даже не знаю, что вспомнить: зубную ли боль, от которой ломит полголовы, — или боль в седалищном нерве, когда не можешь пошевелиться без того, чтобы тебя не прострелило от поясницы к стопе?

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)